

УДК 316.2.316.733

**ДЖЕФФРИ Ч.АЛЕКСАНДЕР,**

*профессор социологии Ельского университета, один из руководителей Центра культурологических исследований Ельского университета<sup>1</sup>*

**ИСААК А.РИД,**

*доктор социологии Ельского университета, преподаватель Университета Колорадо в Боулдери<sup>2</sup>*

## **Социальная наука как прочтение и как перформанс: культурсоциологическое понимание эпистемологии (Реферативное изложение)<sup>3</sup>**

### *Аннотация*

*Во времена “возврата к эмпирическому”, когда теоретические диспуты минувшей эры вроде бы стихли, авторы статьи поставили своей целью найти интеллектуальные основания для возобновления подобных дебатов, чтобы сделать возможным более глубокое понимание природы и задач эмпирической социальной науки. Оспаривая необходимость слишком частого обращения к онтологии, они вместо этого пытаются найти культурально-обоснованное, герменевти-*

---

<sup>1</sup> Дж. Ч.Александр известен как вдохновитель и яркий представитель неофункционализма, сторонник “сильной программы” культуральной социологии в противовес “слабой программе” социологии культуры. В частности, особое внимание он уделяет изучению культурных кодов, смыслов и нарративов в различных сферах человеческой деятельности.

<sup>2</sup> И.А.Рид работает в сферах социальной теории, культуральной и исторической социологии. Одна из самых известных его работ “Суд над Салемскими ведьмами” (“Salem Witch Trials”) посвящена исследованию кросскультурных явлений, вопросов гендера и власти в пуританском обществе.

<sup>3</sup> Перевод с английского А.Дячук по: *Reed I., Alexander J. Social Science as Reading and Performance: A Cultural-Sociological Understanding of Epistemology // European Journal of Social Theory. — 2009. — 12. — P. 21–41.*

*ческое объяснение рациональной социальной науки. Исходя из диспутов в рамках социологии культуры, с одной стороны, и неизбежных проблем интерпретативной философии — с другой, авторы предлагают культурсоциологический подход к эпистемологии. На этих основаниях они приходят к выводу, что рациональность в социальных науках может быть достигнута только путем удержания от онтологии.*

**Ключевые слова:** культура, эпистемология, интерпретация, перформанс, теория

## I

Прежде всего необходимо рассмотреть совокупность фоновых представлений, определяющих саму идею возврата к эмпирическому, раскрывающих его отличительные черты и артикулирующих особое значение, которое он имеет для современных ученых, работающих в области социальных наук. Эти фоновые представления отсылают к метатеоретическим сдвигам, характерным для социальных наук и особенно для социологии с 1960-го до середины 1980-х годов. В течение этого, теперь уже давно минувшего периода дискуссий и споров интеллектуалы, в первую очередь молодые, пылко спорили по поводу самого концепта “модерной жизни” (modern life), либо того, что тогда считали таковой, и относительно господствующих парадигм социальной науки, в рамках которых он приобретал артикулированность, значимость или же подвергался критике. Результатом таких критических поворотов стал “восходящий сдвиг” (upward shift) в практиках социальных наук.

Научные круги всколыхнуло новое и чрезвычайно сильное увлечение первоосновами, что явилось одновременно и реакцией на глубокий социальный и интеллектуальный кризис, и одним из его факторов. Мэтры и молодые ученые оказались перед необходимостью переосмысления ответов на фундаментальные вопросы. Что означает — изучать общество? Что такое теория, и какова ее роль в социальных исследованиях? Какова природа социального действия и социального порядка? И главное — что такое социальная реальность, на определение которой мы претендуем на основании эмпирических методов исследования? А отсюда, что такое эмпирическое?

Во времена подобных потрясений не удивительно, что теория становится как бы вездесущей и всеобъемлющей и что в сферах философии науки и социальной теории ведутся масштабные новые исследования. Взять хотя бы научные достижения, которые популяризировались и в рамках, и за рамками сферы социальных наук.

В Германии критика в адрес как классического марксизма, так и позитивизма со стороны Юргена Хабермаса стала громоотводом для теоретических дебатов. После его эмпирически ориентированной работы на получение звания доцента, посвященной трансформации публичной сферы и написанной еще до начала периода социальных волнений, все его дальнейшие достижения были направлены на фундаментальные вопросы — начиная от “Познания и человеческих интересов” (Knowledge and Human Interests, 1971) и до “Теории коммуникативного действия” (Theory of Communicative Action, 1984). В Великобритании Энтони Гидденс написал серию “основоположных” книг, начав с “Капитализма и современной социальной теории”

(Capitalism and Modern Social Theory, 1971), опубликовал ряд интерпретативных и полемических трудов в конце 1970-х, таких как “Новые правила социологического метода” (New Rules of Sociological Method, 1993), “Главные проблемы социальной теории” (Central Problems in Social Theory, 1979), и наконец, в середине 1980-х написал теоретический трактат, посвященный теории структуризации. Во Франции Пьер Бурдьё перешел в 1967-м от полевой работы в Алжире к написанию провокационных “Очерков теории практики” (Esquisse d'une theorie de la pratique, 1967), которые были переведены на английский язык (Outline of a Theory of Practice, 1977) и представлены в англоязычных кругах в 1970-х.

Фундаментальные вопросы оказались на пике моды и в Соединенных Штатах. Толстые тома монографий и учебников были посвящены исследованию так называемых парадигмальных противоречий между функционализмом, теорией конфликта, символическим интеракционизмом, этнометодологией, теорией обмена и марксизмом. Один из наиболее выдающихся американских социологов-эмпириков, Алвин Гоулднер, направил свою научную деятельность в русло фундаментального диспута. Его монументальное исследование “Приближение кризиса западной социологии” (The Coming Crisis of Western Sociology, 1970), пронизанное духом апокалиптических трансформаций, могло бы стать итоговым для того времени, даже если бы следующая, изданная им трилогия “Темная сторона диалектики” (The Dark Side of the Dialectic, 1974) не добавила к сказанному ранее ничего нового. Один из авторов этой статьи, Дж.Александр, свою раннюю работу “Теоретическая логика в социологии” (Theoretical Logic in Sociology, 1982), которая появилась более чем через десять лет после Гоулднерового прорыва, посвятил обращению к вопросам пресуппозиций. Таким образом, он внес свой вклад в кульминацию теоретической рефлексии в американской социологии наряду с теоретиками, которые, едва закончив обучение в 1960–1970-х годах, пришли к выводу, что параметры социологической мысли необходимо переосмыслить.

Правда, с течением времени исчезли даже отголоски этих дебатов. Период интеллектуальной истории социологии закончился. Однажды Т.Парсонс спросил: “И кто вообще сейчас читает Спенсера?” А через полвека после этого Дж.Тернер, в свою очередь, поинтересовался: “И кто вообще сейчас читает Парсонса?” Современные социологи, поколение Гидденса, Халбермаса и других, с полным правом могут спросить: А кто сейчас читает Маркса, Вебера или Дюркгейма, да и вообще активно вовлечен в теоретический диспут?

Что могло стать причиной отказа от теоретического дискурса? Одна причина — практическая — заключается в том, что теоретический переворот создал новые фреймы референций, в рамках которых смогли развиваться эмпирические социальные науки. Сам Фуко стал “основателем дискурсивности” (founder of discursivity), в пределах которой возможно исследование на основе наблюдения; Гидденсова идея “поздней модерности” (late modernity) дала толчок огромному количеству case study, теория дискурсов Халбермаса сделала возможным погружение в исследования узнавания, общения и общественной жизни (public life) и, таким образом, приобрела исключительное для социальных наук значение; ключевые концепции габитуса (habitus) и поля (field) Бурдьё могут найти применение в исследовании раз-

нообразных “полей” общества и соотношения между габитусом и полем. Нельзя также обойти вниманием появление новой исследовательской программы в социологии культуры, которая, можно сказать, возникла в рамках диалога между Роланом Бартом, Клиффордом Гиртцем и Мери Дуглас, с одной стороны, и их младшими коллегами Энн Свидлер, Мишель Ламонт, Джоном Мейером и Джеффри Александром — с другой.

Конечно, это поучительный и весьма привлекательный путь истолкования возврата к эмпирическому, ведь он репрезентирует нормализацию и рутинизацию новых идей, с тем чтобы предложить видение социально-исторических процессов 60–70-х годов XX века. Однако сдвиги в социально-научной практике редко бывают настолько эффективными и результативными. Мы стали свидетелями глубокой смены настроений, появления туманного и, однако, сильного ощущения того, что период кризиса и обновления закончен, что надежды и мечты о теории безвозвратно растаяли во времени.

Возможно, это ощущение развилось в связи с новым социальным курсом Рейгана и Тэтчер, которые, как бы строго их ни критиковали, похоже, сделали очевидным конец эры и приближение другой эпохи социального равновесия в англоязычном мире. Или же было лишь туманное предчувствие, высказанное Стивеном Сейдманом (1994) так: “великий проект” теории в его единстве с модернистской фазой, чье историческое время прошло. В профессиональных траекториях выдающихся теоретиков 1960-х этот сдвиг происходил по субъективным причинам. Гидденс оставил высокую теорию ради сфокусированных исследований глобальности и одиночества; Хабермас — ради права и Европы, Сейдман покинул постмодерный диспут ради исследования сексуальности; Бурдье начал работать над собственными эмпирическими разработками, используя свои исследовательские программы в серии исследований среднего уровня; Александр перешел к эмпирическим исследованиям культурных символов и гражданского общества. Более всего об этом “нисходящем сдвиге” (downward shift) свидетельствует именно приближение постмодерной социологии, которая пышно расцвела в Великобритании и Австралии. На путях, проторенных Фуко, Лиотаром и Гидденсом, возник целый ряд весьма конкретных и четких исследовательских программ, посвященных исследованию рас, здоровья, тела, брендов, эстетики и экономических отношений. Результатом этого является новое знание о социальных структурах: сети, глобальные города, патриархат, нормативный гетеросексуализм, оздоровительные режимы, память тела, информационные маркетинговые системы, сложность (complexity), новые социальные движения, новый империализм, радикальные режимы, постколониальность, перформативность, глобальность, экосистемы, новый космополитизм, вторая модерность, новый национализм, жизненный путь, действие эмоций, структуры культуры, гражданское общество.

Все перечисленное действительно заслуживает детального изучения, но не было ли нечто утрачено современными — как европейскими, так и американскими — учеными, которые в своих работах так глубоко обеспокоены выяснением социальных фактов и исследованием каузальных процессов? Пожалуй, было. Очевидно, что с возвращением к логике понимание структуры мира как таковой посредством наблюдения и калькулирования была утрачена дискурсивная способность.

## II

Контртезисом является утверждение — теория все еще жива, но по-иному. Бесспорно, можно предположить, что “теория” не была полностью отброшена, а только рассредоточилась, создавая разнообразные социальные пространства, которые сейчас, похоже, требуют объяснения. Возможно, была отброшена лишь определенная разновидность теории — унифицированной, всеобъемлющей, заикленной на себе и собственных научных амбициях?

В таком мнении есть доля правды; к ней мы еще вернемся, но сначала следует заметить, что если бы все дело было в упомянутом рассредоточении, то это непременно стало бы частью “нисходящего сдвига”, который не предполагает консолидации тех сфер теории, где абстракция и лингвистические изобретения, являющиеся обязательными составляющими теоретизирования, поставлены на службу политическим и культурным запросам. Нужно подчеркнуть также, что в этом случае речь идет не о единстве восприятия структур социальной, культурной, политической теорий конца 1980-х, даже если частично это восприятие выражается в недоверии к универсалиям. Зайдите на конференцию практически по любой дисциплине в социальных или гуманитарных науках, и вы очень быстро поймете, оперирует ли докладчик значениями, которые конструируют мир современной теории. Насколько серьезно докладчики высказываются в терминах дискурсов, гегемонии или значения? Насколько взвешенно они рассматривают термин “габитус” или же, наоборот, относятся к нему презрительно? Осторожно ли используют они Веберовы понятия интерпретации и социального действия? В курсе ли они Хабермасовых формулировок Просветительского проекта?..

Мир значений современной теории одержим собственными множественными языками, собственными творческими светилами (такими, как Поль Гилрой, Фредерик Джемисон, Джудит Батлер) и собственными центральными вопросами (такими, как глобальность, перформативность, верховная власть, социальное неравенство и демократия). Больше всего поражает тот факт, что этот мир настолько сильно теоретизирован, деструктивно обособлен от строгого улавливания эмпирического посредством социологического исследования. “Мир теории” закрылся социально, экономически и культурно от мира, в котором происходят, измеряются и верифицируются социальные факты. Тем не менее в США это получило значительно меньшее распространение, чем где-либо еще.

В конце 1980-х теория ощущала определенный финансовый голод, поскольку сознательно отделилась от таких финансово прибыльных сфер, как естественные науки, сферы экономики, политики, менеджмента, эпидемиологии. Именно научный статус последней из указанных сфер ярче всего иллюстрирует переход от социальной легитимности к платежеспособности. Крайне ощутимым стал этот разрыв в социологии, ведь здесь актуализировался мощный вектор “возврата к эмпирическому”, тогда как теория продолжает жить там и тогда, где и когда она способна это делать, отбрасывая эмпирическое и, таким образом, прилагая руку к своему величественному возвращению. Соединенные Штаты до сих пор ограничиваются “методологическим фетишизмом” [Appadurai, 1986]. Сегодня, хотя уже в гораздо меньшей степени, чем в послевоенные годы, в США доминирует идея сужения сферы теоретических разработок с целью контроля набора переменных для обеспечения их статистической валидности. В британской социологии

укоренилась несколько иная традиция. Социологи в своих научных работах схватывают сверхдисциплинарные, философские утверждения в качестве источника объективной истины. С позиции этой новой философской платформы кажется, что эмпирическая аргументация способна обойти самокритичную историю социологического диспута и приобрести новую, менее сомнительную правомерность. В этой разобщенности значительную роль играют материальные побуждения, однако интеллектуальная стоимость, если условно предположить ее существование, является гораздо более высокой. Ведь под знаком новых эмпирических маршей разобщающая (*divisive*) академическая политика сводит теорию к учебникам, с одной стороны, или к периферийным дисциплинам из области неинструментализированной и недостаточно финансируемой дискурсивной мечты, с другой стороны.

Таким образом, мы имеем не контртезис “живой теории”, а двойную перспективу этого тезиса. Под углом зрения социологии это означало активное свертывание теоретических диспутов и возврат к эмпирическому, но в более общем плане, в перспективе наук о человеке, в современной западной школе происходило отдаление теоретического сознания от более эмпирически ориентированных и лучше финансируемых ветвей социальных наук. Что было утрачено в процессе этого сдвига — вопрос, на который еще предстоит дать ответ.

### III

Социологи-практики уже не помнят — или просто выпускают из поля зрения как артефакт релятивистского постмодерного скептицизма — то, о чем Парсонс написал еще в 1937 году, а именно: что факты являются элементами теории, принявшими конкретную форму. Однако не следует сводить идею ошибочности эмпирического сугубо к проявлениям развитого самосознания более революционной и вольнодумной эры, ведь это было также вызвано своего рода интеллектуальными возобновлениями и изобретениями. Первыми среди таких возобновлений, которые поставили под вопрос эмпиризм в 1960–1970-х годах, оказались философия и герменевтика.

Именно тогда приобрели популярность идеи Вильгельма Дильтея наряду с современным пониманием природы “интерпретативной” науки по сравнению с объяснительной, хотя эта двойственность, в принципе, обернулась философским препятствием для нашего собственного самопонимания. Х.-Г.Гадамер, П.Рикер, Ю.Хабермас, Ч.Тейлор и К.Гирц открыли для нас новую герменевтику, даже если в своих работах они редко выходили за рамки широкого толкования идей Дильтея. На этом этапе было достаточно и базовых принципов герменевтики.

Радикальная философия/история науки Томаса Куна сосредоточилась вокруг концептов парадигмы и идеального типа, открывавших новые перспективы для теоретических размышлений, перспективы, которые дополняли и уточняли заимствованное от герменевтики. Кун настаивал на встроенности (*embeddedness*) эмпирических наблюдений и объяснений в *априорных* теоретических установках, которые могут иметь как ортодоксальный и традиционный, так и революционный и гештальт-ориентированный характер. Были и другие, более утонченные мыслители-философы, бросавшие радикальные вызовы эмпиризму, в частности В.В.О.Квайн, Д.Девидсон,

П.Фейерабенд и Р.Порти. Однако именно Кун зарекомендовал себя как про-тагонист у истоков мифа о новом “науковедении”.

Настоящие теоретические последствия этих новых форм понимания исчезли вместе с “нисходящим сдвигом”. Но их оттеснили не только все более убедительные практики эмпирических и недавно расцветших социальных наук, но и сдвиг в рамках самой философии, сдвиг к конструированию естественных и социальных наук как форм “реализма”.

Инициированный Р.Харе, к которому позже присоединился Р.Баскар и, в несколько ином аспекте, М.Бунге, реализм, избегая различного рода теорий соответствия истины, которые определялись опорой на сенсорное восприятие, “спас” эмпирическое и рациональность тех, кто его изучает, обнаружив способность нормальных научных практик устанавливать объективность и истинность. Существует некий фундаментальный смысл, в котором реализм означал неоспоримое обогащение интеллектуального дискурса: он обеспечивает “пронаучную” позицию со значительно большей гибкостью и философской глубиной, нежели позитивизм. Более того, это позиция, которая соотносится, в глубоком герменевтичном понимании, с тем смыслом, к которому практики естественных наук приходят по-своему, когда раскрывают скрытые структуры мира, чтобы объяснить природные феномены, которые мы можем наблюдать и измерять, в частности на основании экспериментальных методов контроля. Это явно сформулировано в работах Баскара (1975, 1979) как центральное достижение, отделяющее реализм как от позитивизма, так и от постмодернизма. Реалистичная философия науки провозглашает способность “ученых как искателей реального” (scientists-qua-seekers-of-the-real) понимать социальный и культурный мир с ироничной дистанции — “эпистемологического релятивизма” — и одновременно теоретизировать по поводу того, как, в конечном счете, через прагматическое столкновение с миром, наделенным онтологической структурой, коллективный проект науки приобретает способность к рационализму в суждениях. Через трансцендентальную онтологию получаем синтез социологии науки и философии науки, что опять-таки подтверждает состоятельность человеческой рациональности — в долгосрочном, коллективном смысле.

Для социальной науки реализм — либо в своих строгих научных, либо в более “критических” формах — является, по сути, регрессивным интеллектуальным движением, воплощающим иллюзию герменевтической софистики ради сомнительной метафоры, объединяющей каузальную власть природных сил с онтологической теорией эмерджентных социальных структур как базиса онтологического объяснения [King, 2004; Kemp, 2005; Reed, 2008]. Возможно, в своих более сложных формах научный реализм способен синтезировать социологию и философию естественных наук, прокладывая путь, которым прагматика экспериментирования обеспечивает понятные и единичные значения (смыслы) коммуникации и рациональности для ученых, которые бы иначе оказывались заложниками собственных жизнемиров. Но как бы наивно ни звучал этот тезис для реалистов и эмпириков, очевидно, что у атомов нет жизнемира, и по этой причине интерпретирование человеческого поведения никоим образом не может опираться на те же принципы, что и объяснение природных явлений.

Сегодня весьма непривычным кажется то, что даже наиболее “спекулятивные”, нравственно и теоретически встроенные (embedded) исследовате-

льские программы — а именно работы З.Баумана, Н.Роуза или Д.Хелда — предстают как формы фактуального доказательства, основанного на эмпирическом знании и поддерживаемого дисциплинированным методологическим анализом.

Во всем этом в качестве симптома “нисходящего сдвига” присутствует общепринятое и глубоко неудачное смешение утверждений общего характера в теоретическом дискурсе со сциентизмом или натурализмом. В мире современной теории часто доминирует идея, заключающаяся в том, что антипозитивизм прикрывается “нисходящим сдвигом” или скрывает его. Эта абстрактная (теоретическая) аргументация, по сути, связана с эготизмом исключительной Западной научной парадигмы. Страсть Фуко к привнесению противоречивого теоретического аргумента в конкретное и дискретное историческое исследование весьма показательна и, тем самым, показательно обманчива. Многие ученые пошли по пути такого рода ироничного, “благополучного позитивиста” (“*fortunate positivist*”) и интернализировали его недоверие к глубинной интерпретации, как еще одному дискурсивному ухищрению унифицированного разума.

В полемическом контексте не удивительно, что “критический реализм” превратился в убедительный дискурс — не только для эмпириков, но и для теоретиков, ведь он, без сомнения, представляет собой соблазнительную возможность “выхода” за рамки научного/антинаучного деления в эпоху деградирования и “нисходящего сдвига” и способен обеспечить возможность как эмпирической ответственности и моральной критики, так и теоретического обоснования. Он в состоянии вывести ценности из фактов, восстановить в правах унифицирующую эпистемологическую силу марксизма, избегая специфических политических обязательств.

Реализм — третий акт драмы в три действия, разрядившей напряжение, заданное в акте первом — в 60–70-х годах XX века, и преодолевающий страх перед релятивизмом и нерелевантностью, распространяемыми постмодерным скептицизмом и войнами учебных программ 1980-х годов (акт второй). Центральными игроками во втором акте стали гиперрефлексивные антропологи, осуществившие Эдипово уничтожение Гирца, Сахлинса и компании. Вместо того, чтобы вслед за Сейдманом утверждать, что ориентализм является отклонением, обусловленным партикуляризмом определенных исторических условий, Д.Клиффорд предположил, что каждое этнографическое наблюдение имеет аллегорическую природу.

#### IV

Возможна иная нарративная дуга и, в ее пределах, — другой эпистемологический вывод. Интерес к новым эмпирическим мирам привлек внимание к культурному, исторически связанное со сдвигами 1960–1970-х годов. Когда антропология вошла в состояние кризиса, Американской социологической ассоциацией была создана секция социологии культуры, и историки культуры в Соединенных Штатах начали усваивать уроки Гирца, Куна и Бейлина, чтобы найти альтернативное объяснение истории Запада и переосмыслить историографию [White, 1973]. В социологии конец теоретического *Zeitgeist* совпал во времени с иного рода вторым актом: медленным, устойчивым, эпистемологически не осознаваемым, но, в конечном счете, высокопроизводительным развитием социологических исследований

культуры. Сегодня секция культуры Американской социологической ассоциации является наибольшей среди всех по численности членов; она держит первенство и по количеству секций по таким классическим социологическим проблемам, как социальная мобильность, классы, политика, стратификация и др. В Великобритании “Theory, Culture and Society” (Теория, Культура и Общество) — если не ведущий национальный журнал, то, безусловно, наиболее влиятельный на мировом уровне. Также следует отметить, что первый журнал Британской социологической ассоциации уже более двадцати лет называется “*Cultural Sociology*” (Культуральная социология).

В секции культуры Американской социологической ассоциации можно встретить те же подходы к эпистемологическим делениям, которые обычно отстаивают самопровозглашенные теоретики — позитивизм vs реализм vs герменевтика vs прагматизм; культура политики vs политика культуры; производство и потребление; локальное знание и общие положения. В работах большинства членов секции социологии культуры эти диспуты являются “нисходяще сдвинутыми”, встроенными (*embedded*) и предполагают понимание в рамках эмпирических исследований. Впрочем, в этих жарких диспутах мы находим потенциал для обновления теоретических и метатеоретических дебатов в том виде, который может обогатить наше самопонимание и значительно повысить качество наших эмпирических исследований. Исходные позиции культуральной социологии можно приобщить к продуктивному диалогу по решению проблем эпистемологии. Таким образом, “культурализованная эпистемология” будет включать два центральных тезиса: (1) двояко-означаемые эмпирические объекты (*objects*) в социальной науке и, так сказать, участвующие в качестве маркеров в двух системах значений, чьи пересечения всегда оказываются неполными, и (2) социальная наука, которая в своей продуктивности и погоне за истиной представляет собой спектакль, состоящий из языковых актов, являющихся в равной мере символическими и коннотативными и одновременно констатативными и денотативными. Первый тезис недвусмысленно намекает на гипостазированные отношения между теорией и реальностью в социальном исследовании; второй артикулирует на языке перформативной теории активный процесс, в рамках которого теоретические и эмпирические свидетельства используются для построения социологических объяснений.

Предлагая к рассмотрению эти тезисы, авторы статьи имели своей целью вернуть эпистемологию в игру и выйти за пределы знакомого культуросоциологического аргумента (по крайней мере в его упрощенном виде), согласно которому культура является “конституентом” социального, то есть все, так называемые, “твердые” (*hard*) социальные структуры фактически зависят от “мягкой” (*soft*) культуры. Поскольку это внушение оставалось в силе, следовало выяснить, что собственно вытекает из подобных аргументов в плане конструирования социологического знания. Аргументы “за культуру” слишком онтологичны; они поднимают вопрос культуры в рамках научного реализма, подвергая сомнению тот факт, что культура является значительно более влиятельной силой, нежели оппортунистические политические структуры или экономические ресурсы. Такие аргументы не дают ответов на эпистемологические вопросы: если все и каждый руководствуются смыслом, то так ли уж важно, что социологи видят себя ориентированными скорее на эмпирические факты, чем на разработку собственного мировоззрения (*Weltanschauung*)?

Начнем со строго антипозитивистского допущения: когда мы проводим эмпирическое исследование, мы “читаем”, а не “наблюдаем”. Да, мы действительно ориентированы на то, что может быть увиденным, записанным и, порой, количественно измеренным. Без таких показателей социальной жизни социология как дисциплина существовать не может. Но что мы делаем с полученными данными? Мы встраиваем (embed) их в нашу собственную теоретическую систему значений и, таким образом, описываем те смысловые системы в социальном мире, в которые были встроены данные. Истинные продукты эмпирической социальной науки представляют собой знаковые системы соотношений означаемого/означающего. Знаки истины участвуют в двойной системе референции, в мире значений, каковым являются социальная научная теория, с одной стороны, и в мире значений, “окружающим” социальные действия, — с другой.

Референтные реальности социологического объяснения, таким образом, представляют собой смыслы, часть из которых в свое время застыли или превратились в устойчивые элементы экономических и политических структур. Однако эти реальности доступны только через собственные смыслы исследователя, которые, при наличии удачных теорий, хороших идеальных типов, качественных моделей социального движения обеспечивают возможность эффективной интерпретации. Эмпирические объекты “обращаются к нам” (speak to us), и мы изо всех сил стараемся честно “знать” (know) их, а также то, что их объясняет. И все, на что мы в действительности способны, — это “знать” их так, как мы знаем объекты искусства, через наши надежды, чувства, ментальные отображения и ожидания. Социальное знание отличается от эстетического лишь тем, что в социальных науках наше знание сублимировано в рационализированный, краткий и точный дискурс сущностной социальной теории. Таким образом “эмпирическое” зависает между двумя знаковыми системами: нашими теоретическими пресуппозициями и нашими объяснительными постсуппозициями изучаемого случая.

Примем во внимание прямую инверсию восприятия критических реалий. Философия науки настаивает на том, что социальный ученый начинает с герменевтической операции познания “смыслов актора” (actors’ meanings) и от этого движется к обоснованной, реальной “структуре” путем превращения протонаучных концептов в научные. Однако авторы статьи отводят герменевтике место как в конечном пункте, так и в начале операции социологического толкования. Социальную науку можно понимать как диалектику, которая колеблется между слабой и сильной герменевтикой. Операции слабой герменевтики — это фиксация наблюдений; ознакомление с незнакомыми высказываниями, действиями и мнениями; упорядочение качественных и количественных данных. Что же касается операций сильной герменевтики, то они эксплицитно постулируют существование смысловых структур, чьи рамки и ригидность должны быть аргументированы со ссылкой на теоретические концепты и зафиксированные данные. Баскар, как и Маркс, предан идее *противоречия* между поверхностными концепциями и глубинными реальностями, которое объясняет не только эмпирические данные, но и ошибочную интерпретацию их со стороны социальных акторов (то есть идеологию). Вместе с Клиффордом Гиртцем и Мишелем Фуко авторы весьма скептически относятся к так называемому *открытию* глубинных структур. Вместо логики научного открытия социальные ученые постоянно вовлечены в определенного рода глубинную эпистемологическую игру, рискуя собст-

венными внутренними смыслами в попытках схватить внутренние смыслы других людей и вещей, чья реальность лежит за пределами их собственной.

Иными словами, даже если эмпирические объекты онтологически существуют за пределами нас, они текстуализированы в рамках социального текста. Таким образом, для понимания того, что мы делаем, когда прочитываем их, нам необходима текстуальная теория. Гипотетически, при условии использования нашего теоретического аппарата, эмпирическое становится означаемым для наших теоретических означающих, поэтому вместо того, чтобы раскрывать “реальный” мир, наши дескрипторы эмпирических объектов должны восприниматься как знаки, сводящие друг с другом теорию и наблюдение, а следовательно, причастные к ним обоим. Потом эти значения, предназначенные для описания, становятся фактами, на которых мы выстраиваем наши объяснения. В этих объяснениях знаки (за которыми стоят и теория, и наблюдения), в свою очередь, становятся означающими относительно знаков второго порядка, где означаемыми являются более глубокие смыслы, помогающие нам объяснить социальное действие, — невидимые культурные структуры. Таким образом, нет ни сугубо дедуктивного отношения между теорией и данными, ни сугубо индуктивного отношения между данными и толкованием. Более того, нет прямого онтологического референта для теоретических терминов.

Хотя эта реконструкция интерпретативной эпистемологии подчеркивает важность и относительную независимость данных, она фактически расширяет рамки культурных структур и герменевтических интерпретаций. В приведенной ниже цитате К. Гиртц сводит смысл, ориентированный на герменевтический метод, к задаче объяснения самой культуры.

“Репертуар самых общих, академических концептов и систем концептов — “интеграция”, “рационализация”, “символ”, “идеология”, “этос”, “революция”, “идентичность”, “метафора”, “структура”, “ритуал”, “мировоззрение”, “актор”, “функция”, “святое” и, разумеется, сама “культура” — имплицитируется в тело насыщено-описательной этнографии с целью воспроизведения явлений как таковых с научной убедительностью. Это имеет своей целью вывести из мелких, но плотно текстурированных фактов весомые выводы, чтобы поддержать общие утверждения касательно роли культуры в построении коллективной жизни, четко соотнося их со сложной конкретикой” [Geertz, 2000b: p. 28].

Культурализация эпистемологии применима к изучению всякого объясняемого — не только к “мягким” (soft) переменным, но и к наиболее реальным, наиболее действенным и наиболее влиятельным социальным структурам.

Возьмем, например, исследование Дж. Батлер, посвященное вопросам перформативности и гендера. Если когда-либо и существовал пример эмпирического “открытия”, которое бы открыло абсолютно новую сферу адекватного научного исследования в социальной науке, то это как раз тот случай. Работа Батлер положила начало многочисленным эмпирическим исследованиям в рамках гендерно-половой системы как социальной структуры, чья “твердость” (hardness) не подлежит ни малейшим сомнениям, структуры, воспроизводимой в повседневных практиках в сочетании с системой социальных санкций, включающей открытое насилие и институциональную силу и развивающей режимы дискриминации. Но действительно ли Батлер пришла к такому открытию в своих работах и тем самым дала толчок социологии

сексуальности? Она сделала это, используя мир теоретических значений, разработанных, в частности, Фуко, Остином, Деррида, Гофманом, Тернером и Виттингом. Используя эти *apriori*, она реинтерпретировала самое основополагающее из “данных наблюдений” (observational data), повседневный акт “бытия мужчиной или женщиной” в современном западном обществе как “реализацию гендера” (‘doing gender’). В работе “Гендерная забота” (Gender Trouble) мы можем увидеть комплексные процессы эпистемологической ресигнификации на практике, поскольку теоретические смыслы влияют на данные, выводя отсюда новую, постсуппозиционную смысловую структуру, предстающую в качестве того целого, которое объясняет части.

Рассматриваемая в качестве первичной, каузально определяющей идентификации, гендерная идентичность может быть переосмыслена как личная/культуральная история общепризнанных смыслов, подчиненных набору имитативных практик, которые отсылают к другим имитациям и в совокупности создают иллюзию первичной и внутренней гендерной самости или пародируют механизм такого создания [Butler, 1999: p. 176].

Не стоит и предполагать, что теоретическое нововведение Батлер является заявлением в пользу радикальной свободы реализации гендера — как если бы ее новое теоретическое изложение половой/гендерной реализации реферирует прямо и онтологически к естественной способности каждого в любое время сбросить с себя ярмо социальной структуры. Главное ее положение состоит, бесспорно, в прямо противоположном — определить радикальные рамки гетеронормативности как системы власти и контроля. Она указывает на власть социальной структуры нового рода.

Если мы поймем, что позиция Батлер заключается в том, что эта социальная структура, как и остальные — в сфере экономики, религии, расы или гражданства, является седиментированной и институционализированной структурой значений, тогда придется признать, что ключ к ее изучению — интерпретация значений. Стимулируемая новыми теоретическими идеями и новыми идеологическими нюансами, Батлер смогла переопределить половую/гендерную систему, создав эмпирический объект и указав на новую разновидность объяснительной модели. Вместо того, чтобы предлагать новую онтологию пола и гендера, она, скорее, ставит в центр социальный перформанс, исходя из того, что онтологический жанр теории делает несостоятельной и неправомочной эмпирическую проникновенность.

Тот факт, что гендерированное тело является перформативным, предполагает, что оно не имеет онтологического статуса отдельно от разнообразных актов, которые конституируют его реальность. Это также предполагает, что если данная реальность сформирована в качестве внутренней сущности, то собственно это внутреннее и есть проявлением и функцией определяющего публичного и социального дискурсов, общественного регулирования фантазии через внешнюю политику тела, контроль гендерных рамок, отличающий внутреннее от внешнего и тем самым задающий “единство” субъекта [Butler, 1999: p. 173].

Прежде чем утверждать, что культура конституирует социальное, стоит отметить, что социальное лучше понимать в терминах, которые мы используем, теоретизируя “природу” (“nature”). В онтологическом смысле социальные структуры являются седиментациями культуральных структур, кристаллизованных структур смыслов, настолько глубоко закрепившихся и легитимированных, что продуцируют материальные побуждения для под-

чинения и наказания для девиаций. Итак, социальные структуры можно сравнить с законами — не естественными, но юридическими: они составляют глубоко укорененные структуры предоставления преимуществ в сочетании с санкциями. Авторы предлагают альтернативу смелому и одинокому “наблюдению” и “тестированию” со стороны социального ученого, который соприкасается то ли с откровенной эмпирической, то ли с непостижимой онтологичной реальностью глубинной структуры. Изучение общества эмпирическим путем требует, напротив, сложного двойного прочтения. Социальные акторы “читают” реальность прагматически, согласно собственной системе смыслов, тогда как мы “читаем их” (акторов), пытаясь проникнуть в их глубинные структуры, используя наши собственные смыслы. Когда это удастся, мы приближаемся к социологическому объяснению.

## V

Итак, социолог подходит к своим данным с набором теоретических presuppositions и пытается прийти к тем post-suppositions, то есть значениям, “конституирующим” социальную реальность, которую социолог предлагает объяснить и реконструировать, исходя из интерпретации фактов. Было бы бессмысленно ожидать, что рациональность социально-научного дискурса будет производной от этой реальности на основании то ли рациональности, а значит, универсальной понятности человеческих акторов, являющихся объектом нашего изучения, то ли онтологической устойчивости социальной структуры.

Нужна гораздо более глубокая модель научной жизни, чем модель постоянного обсуждения или даже публичной критики, чтобы понять, что происходит, когда социологи предъявляют факты и тщательно проверяют теории. Такую модель следует понимать скорее как социальный перформанс [Alexander, 2006]. Ученый должен передать свое понимание путем продуцирования и представления собственных научных текстов. Таким образом, когда социолог пытается сообщить своим коллегам об истинном значении своей работы, наблюдательное прочтение превращается в письмо. Это означает — предложить проникновенную интерпретацию того, что объясняет научному сообществу совокупность социальных действий и социальных порядков, составляющих предмет общей заинтересованности, таких как Французская революция, выборы в Америке, снижение доходов среднего класса, истоки современного западного капитализма. Будучи адресованными аудитории, тексты ученых должны быть не просто констатативными, но и перформативными; речь идет о попытке создать, презентировать и сформировать социальный мир, чья реальность заставляет воспринимать данные как правдоподобные, вероятные и даже необходимые.

То есть в итоге “эмпирическое” становится средством символического продуцирования. Наряду со связанными с этим ограничениями существует и такой фактор, как мера доступности для аудитории философских presuppositions и каузальных схем, предполагаемых исследовательской программой социолога. Свою роль играют и определенные институционализованные структуры социальной власти — фондовые агентства, государственные, образовательные и профессиональные организации, регулирующие обнародование и продвижение. Успех презентаций истины опосредуется относительно независимыми структурами восприятия, присущими аудито-

рии, сообществом специалистов и студентов, и наконец, зависит от относительного занудства или творческого начала самого ученого, от перформативной составляющей, чья чувствительность к деталям столь же разнообразна, насколько разнообразными могут быть данные. Научные или педагогические усилия на пути к истине становятся перформансами, утверждающимися посредством циркулирования сетей символического обмена, “информации” для распознавания [Hagstrom, 1965]. В этих взаимных перформансах авторы превращаются в критиков, социальные авторитеты становятся публикой, а критики, в свою очередь, превращаются в авторов. Именно множественность и сложность этих сетей символического обмена в их циркулировании — дифференцированность элементов научного перформанса — в итоге и определяет потенциал достижения рациональной истины.

Эта модель применима к продуцированию текстов в естественных науках, но перформанс истинностных заявлений в социальных науках имеет характерную динамику. В отличие от естественных наук, перформативное утверждение социально-научных знаний требует от социолога создания одновременно *двух* миров смыслов — один мир смыслов его коллег, второй мир смыслов предмета исследования. Научный текст должен раскрывать мир, объясняющий факты, в терминах мира, который их теоретизирует. И, таким образом, это всегда дедуктивное и индуктивное, парадигматическое и синтагматическое, денотативное и коннотативное, “объяснение” (схватывание того, что сущностно объясняет действия других) и “интерпретация” (зависящая от наших теорий и наших интуиций на пути к этому самому схватыванию). И между этими двумя мирами значений всегда будет существовать разрыв, *различие*. В результате мы получаем отнюдь не произвольный и иррациональный релятивизм, однако происходит смещение действия эмпирической ответственности — от онтологической надежности объекта и рациональности индивидуальных исследователей в сторону избирательного сродства между смыслами теории и смыслами исследуемого случая. Если эти смыслы пригодны для “схватывания” друг друга, это открывает путь к социологическому пониманию и, соответственно, к объяснению действия. Это взаимное понимание — необходимое, но не достаточное условие для признания истинности со стороны научного сообщества — аудитории, признающей правдоподобие исключительно на основе перформанса.

## VI

Довольно давно, когда еще только начался “восходящий сдвиг”, Ж.Деррида утверждал, что структурализм как господствующая в то время универсально-научная теория во французской этнологии содержит самокритику. Тщательное изучение основоположных теоретических текстов Леви-Стросса привело Дерриду к осознанию того, что в гуманитарных науках онтологический дискурс является иллюзией и что основные теоретические отличия, такие как между природой и культурой, полезны именно в качестве интерпретативных инструментов для схватывания той или иной социальной формации, того или иного мифа и для предоставления нам возможности показать, как “онтология” социального постоянно реконструируется через действенность социальных смыслов.

Авторы отмечают, что в коллективном конструировании мифа о Дерриде и постмодерном скептицизме из поля зрения была выпущена сама суть

его “Структуры, знака и игры в дискурсе гуманитарных наук” [Derrida, 1978]. Эта деконструкция гуманитарных наук скорее не демонстрирует невозможность гуманитарных наук, а очерчивает условия их возможности: то есть социальные ученые вынуждены использовать теории для понимания смыслов, не являющихся их собственными, в непрерывном повторении эмпирического истинотворчества (truthmaking), представляющего собой не столько накопление, сколько распространение.

Объявляя конец эры теории, С. Сейдман недавно отметил, что по иронии постмодернистский скептицизм остался слишком общим в своих постулатах и целях, но несмотря на это, “нисходящий сдвиг” повернул большинство ученых лицом к эмпирическому. В итоге мир снова очутился на раздорожье между теорией и фактом. Дилемма эта ошибочна, поэтому с тем, чтобы избежать ее, необходимо рассмотреть возможности культуральной социологической науки. Эта наука исторически ограниченная, но теоретически вооруженная, эмпирически ответственная и эпистемологически сознательная, стремящаяся к объяснительной валидности. Условия для этого нового понимания обеспечили интеллектуальные разработки второй половины XX века. Культурсоциологическая теория эпистемологии, освещаемая в данной статье, логически следует отсюда.

### **Источники**

*Alexander J.C.* (1982) *Theoretical Logic in Sociology*. — Berkeley: University of California Press.

*Alexander J.C.* (1988) *Action and its Environments: Toward a New Synthesis*. — New York: Columbia University Press.

*Alexander J.C.* (2004) *Cultural Pragmatics: Social Performance between Ritual and Strategy* // *Sociological Theory* 22(4): 527–73.

*Alexander J.C., Giesen B. et al.* (2006) *Social Performance: Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual*. — Cambridge: Cambridge University Press.

*Appadurai A.* (1986) *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective*. — Cambridge: Cambridge University Press.

*Bhaskar R.* (1975) *A Realist Theory of Science*. — Leeds: Leeds Books.

*Bhaskar R.* (1979) *The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences*. — Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press.

*Bhaskar R.* (1998) *The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences*, 2nd edn. — London: Routledge.

*Bourdieu P.* (1977) *Outline of a Theory of Practice*. — Cambridge: Cambridge University Press.

*Butler J.* (1999) *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. — New York: Routledge.

*Callon M., Law J.* (2005) *On Qualculation, Agency, and Otherness* // *Environment and Planning D: Society and Space* 23: 717–33.

*Darnton R.* (1984) *The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History*. — New York: Basic Books.

*Derrida J.* (1978) *“Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences”* // *Writing and Difference*. — Chicago: University of Chicago Press.

*Dilthey W.* (1976) *The Construction of the Historical World in the Human Studies* // H.P. Rickman (ed.) *Dilthey: Selected Writings*. — New York: Cambridge University Press.

*Douglas M.* (2002) *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*. — New York: Routledge.

- Foucault M.* (1965) *Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason.* — New York: Pantheon Books.
- Foucault M.* (1971) *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences.* — New York: Pantheon Books.
- Foucault M.* (1972) *The Archaeology of Knowledge.* — New York: Pantheon Books.
- Geertz C.* (2000a) *Ethos, Worldview, and the Analysis of Sacred Symbols // The Interpretation of Cultures.* — New York: Basic Books.
- Geertz C.* (2000b) *Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture // The Interpretation of Cultures.* — New York: Basic Books.
- Giddens A.* (1971) *Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis Of the Writings of Marx, Durkheim and Max Weber.* — Cambridge: Cambridge University Press.
- Giddens A.* (1979) *Central Problems in Social Theory: Action, Structure, and Contradiction in Social Analysis.* — Berkeley: University of California Press.
- Giddens A.* (1984) *The Constitution of Society: Introduction to the Theory of Structuration.* — Berkeley: University of California Press.
- Giddens A.* (1993) *New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies.* — Stanford, CA: Stanford University Press.
- Gouldner A.W.* (1970) *The Coming Crisis of Western Sociology.* — New York: Basic Books.
- Gouldner A.W.* (1974) *The Dark Side of the Dialectic: Toward a New Objectivity.* — Dublin: Economic and Social Research Institute.
- Habermas J.* (1971) *Knowledge and Human Interests.* — Boston: Beacon Press.
- Habermas J.* (1984) *The Theory of Communicative Action.* — Boston: Beacon Press.
- Hagstrom W.O.* (1965) *The Scientific Community.* — New York: Basic Books.
- Harré R.* (2002a) *Material Objects in Social Worlds // Theory, Culture & Society* 19(5/6): 23–33.
- Harré R.* (2002b) *Rom Harré on Social Structure and Social Change: Social Reality and the Myth of Social Structure // European Journal of Social Theory* 5(1): 111–23.
- Kemp S.* (2005) *Critical Realism and the Limits of Philosophy // European Journal of Social Theory* 8(2): 171–91.
- King A.* (2004) *The Structure of Social Theory.* — London: Routledge.
- Reed I.* (2002) *Book Review: Ann Swidler, Talk of Love: How Culture Matters // Theory and Society* 31(6): 785–94.
- Reed I.* (2008) *Justifying Sociological Knowledge: From Realism to Interpretation // Sociological Theory* 26(2): 101–29.
- Sahlins M.* (1976) *Culture and Practical Reason.* — Chicago: University of Chicago Press.
- Seidman S.* (1994) *Contested Knowledge: Social Theory in the Postmodern Era.* — Oxford: Blackwell.
- Seidman S.* (2003) *The End of an Era: Becoming a Theorist // Perspectives* 26(4): 2, 5, 7.
- Seidman S, Alexander J., eds.* (2008) *The New Social Theory Reader.* — New York: Routledge.
- Sewell W.H.* (1980) *Work and Revolution in France: The Language of Labor from the Old Regime to 1848.* — Cambridge: Cambridge University Press.
- Smelser N.J.* (1962) *Theory of Collective Behavior.* — London: Routledge & Paul.
- Stones R.* (2001) *Refusing the Realism-Structuration Divide // European Journal of Social Theory* 4(2): 177–97.
- Weber M.* (1978) *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology.* — Berkeley: University of California Press.
- White H.V.* (1973) *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe.* — Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Winch P.* (1958) *The Idea of Social Science and Its Relation to Philosophy.* — London: Routledge & Paul.

*Перевод с английского АНИКИ ДЯЧУК*